



## **А. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС**

### **О Мережковских**

*(Зинаида Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский.  
Париж. 1952. УМСА-press)*

В первый раз увидела я Зинаиду Гиппиус в Петербургском Дворянском собрании на балу. Я проходила через буфет. За одним из столиков сидел Мережковский. Его я встречала еще студентом, и тогда он во мне любопытства не возбудил. Но лицо молодой женщины, сидевшей рядом с ним, меня поразило. Длинноватый нос, впалые щеки, явно нарумяненная и набеленная, что тогда было на юных лицах редкостью. Особенностью этой маленькой, яркой головки были волосы и глаза. Длинные, то прищуренные, то широко раскрытые, зеленые, сияющие, русалочьи глаза. Они смотрели с настойчивым вызовом, заслоняли вульгарность слишком грубо наложенных белил. Толстые, золотые косы были положены над выпуклым лбом, как корона. Совсем бы Гретхен, если бы не эти румяна, а главное, если бы не рот, странный, большой, неожиданный на этом красивом лице, с неприятной, точно чужой, улыбкой. В ней была напряженность, беспокойство, расходившееся с красотой верхней части лица. Во всяком случае нельзя было не заметить Зинаиду Гиппиус. Она это знала, этого искала. С тех пор, как она появлялась в Петербурге, ее окружали, ее знакомства искали, ее мнением дорожили. Разборчивая, капризная, она не легко допускала людей в свою свиту, но в свите нуждалась. Ее жизнь, конечно, не исчерпывалась тем, чтобы окружать себя поклонниками. Она прежде всего была писательницей, и поклонения искала двойного, как хорошенькая женщина и как поэтесса и критик. В живом человеке эту смесь не разделить. Но для меня несомненно, что, не будь у Зинаиды Гиппиус таких длинных, изумительных, как у феи, золотых волос, таких колдовских глаз, она и стихи писала бы иначе, и Антон Крайний иначе судил бы чужие сти-

хи. Но ее книга о Дмитрие Сергеевиче Мережковском не похожа на другие ее книги. Она писала, во всяком случае кончала ее в последний год жизни, уже вдовой. Волосы ее из золотых превратились в серебряные, в русалочьих глазах давно потухла дерзость. Это делает ее книгу о Мережковском, об их общей жизни, для историка, м. б., более ценной. У автора уже нет сил, нет времени искусно накладывать краски. Она боится, что не успеет кончить, спешит передать события и мысли так, как они встают в слабеющей памяти. Талантливая, наблюдательная, умная писательница дает много зарисовок, по которым будущие биографы малых и больших деятелей нашей буйной эпохи будут поправлять описанья, сделанные современниками, менее острыми, менее талантливыми. Но это уж не моя задача.

Книга о Мережковском в смысле литературной обработки ниже много, что З. Гиппиус написала. Ей уже некогда было гнаться за мастерством. Она чувствовала, что смерть бродит где-то тут близко, что надо спешить... Зачем? Чтобы отчитаться перед идущими нам на смену поколениями? Чтобы облегчить душу покаянием? Этот оттенок только чуть мелькает, недоговоренный, но тревожащий. Она рассказывает интеллектуальную биографию своего мужа, с которым прожила больше полувека, с которым вместе думала, вместе с ним влияла на мысли других. Не без удивленья прочла я, что она сначала хотела назвать свою книгу — «Он и мы». В этом есть признание его превосходства, есть пиетет, который при их жизни от посторонних глаз ускользал. Скажу больше. Есть неожиданная нежность, которая в этой ко многому холодной женщине удивляет.

Сейчас мои мысли останавливаются не на литературных перепутьях этой выдающейся писательской пары, а на развитии их политической мысли. Они стремились идти по пути всяких дерзаний, хотели и в искусстве, и в философии, и, что было новинкой, в вопросах религиозных уйти подальше от предшественников, от отцов. Само собой разумеется, что, по моде начала века, они в политике были максималисты. В самом конце XIX в. происходит какое-то едва ли продуманное объединение между создателями Религиозно-Философского Общества и «Миром Искусства», которым руководит изящный циник, Сергей Дягилев. Тут же проходит страшная, роковая тень одного из губителей старой России, Победоносцева. Он был обер-прокурором синода, и к нему 8 окт. 1901 г. отправилась депутация, Мережковский, Философов, Розанов, Тернавцев, Миролюбов, чтобы просить разрешения открыть Религиозно-Философское Общество. Точнее, содействия, которое и было им оказано.

Дальше вздымаются политические ураганы. Японская война, поражения, гибель русского флота, речи, банкеты, аграрные беспорядки, 9 января, забастовки, весь оглушительный поток Освободительного Движения, от которого родилась Государственная Дума. Все это только одним краешком отражается в воспоминаньях Зинаиды Гиппиус. Мережковские продолжают жить своей обособленной жизнью, к политике относятся свысока, пока эта политика, ее борьба, ее угрозы и страсти не стали казаться им слишком опасными.

Тогда Мережковские свернулись и уехали на несколько лет в Париж. У Мережковского были средства, жить можно было спокойно и комфортабельно. Уже началась его мировая слава. Он, как всегда, был полон разнообразных умственных интересов. А в России был террор, казни, бомбы, виселицы, была Дума, были политические волнения, надежды, разочарования, шла борьба. Судя по книге З. Гиппиус, все это было для них как далекий спектакль, участвовать в котором они не видели нужды.

Из всех политических течений Мережковские оказались ближе всего к эсерам. В извивы революционной психологии их посвятил член Ц. К. этой партии, Бунаков-Фундаминский, с которым они в Париже сдружились. Он привел к ним Бориса Савинкова. «Совершенно естественно, что темой наших разговоров сделался вопрос о насилии», — пишет З. Гиппиус, осторожно избегая настоящего слова — террор. В ее дневнике такая запись:

«Вечером Б(унаков) и Сав. Тяжелый и страшный разговор. Д. Ф. (Философов) против, — но и я говорю абсолютное “нет”. Нельзя передать режущего впечатления, которое теперь нами владеет. Да? Нет? Нельзя? Надо? Или “нельзя”, но еще “надо”?»

И в другом месте: «Савинков сам как будто чувствовал себя убиваемым — убивая».

Все это очень интересная гимнастика ума, но она проходит мимо моральных глубин, не требуя от них категорического ответа. «Наши тяжелые разговоры с Савинковым ничем не кончились».

Несравненно острее и большее зацепили их политические бури 1917 и следующих годов. Мережковских они захватили в Петрограде. Казалось, что тут уже невозможно кончать ничем, быть острым, но сторонним наблюдателем, а все-таки эти два, по натуре очень деятельные, писателя не причалили ни к какому берегу. Сначала ставили ставку на Керенского. «Керенский, какой ни на есть, все-таки один. Но вот приедут эмигранты, наши парижские друзья, м. б., они...» Она не договаривает, не гово-

рит, чего от них ждет. Друзья-эмигранты, Бунаков и Савинков, приехали, но от этого ничего не произошло. Теперь уже «не один Керенский был в истерике. Что говорил тот же Бунаков!»

И в мельканье фраз, оценок, мыслей, многие из которых она берет из тогдашних своих записей, сделанных по живому следу, уже нарастает страх, растерянность, желанье за кого-то уцепиться, ухватиться за какие-то твердые устои, найти того, или тех, кому можно довериться. Погасла, задутая революционными вихрями, страсть играть со всеми ценностями, устоями, обязанностями. Десятки лет два даровитых русских писателя, муж и жена Мережковские, прожили, забавляясь какой-то ненасытной игрой ума, безответственным интеллигентским любопытством. Жили богатой художественной и поэтической жизнью, но умудрялись обходить острые, ответственные политические вопросы. Да и не только политические. Так обращались они и с вопросами религиозными. Пока тот зверь из бездны, о котором так красноречиво толковали в Религиозно-Философском Обществе, не дохнул на Россию своим мертвящим дыханием. Тогда что-то опалило Мережковских, какое-то проснулось в них реальное ощущение добра и зла и своей органической живой связи с Россией. Уезжая за границу и подводя итоги, оглядываясь назад на то, что в России делается и что с Россией делают, Зинаида Гиппиус уже пишет не об эсерах, а о белой армии, для которой эсеры были плохими соратниками:

«...Главная причина гибели Добровольческой армии, — это ее полная покинутость... Если бы Добровольческой войны не было — вечный стыд лег бы на Россию, сразу нужно было бы оставить надежду на ее воскресенье».

Перебирая разные причины белых неудач, из которых с наибольшей горечью говорит она о союзниках и их сближении с большевиками, Зинаида Гиппиус прибавляет:

«При этих условиях, какой же успех могла иметь с в я т а я белая борьба с зараженным русским народом. Я подчеркиваю с в я т а я, п. ч. такой она была».

Если мысленно пробежать те извилины эстетических, отчасти и общественных блужданий, которые были свойственны обоим Мережковским, то такая оценка добровольческой психологии звучит и неожиданно, и веско. Так же, как заключительные слова книги:

«Д. С. и я, мы были и в начале, и в конце, и всегда за интервенцию...»

Оба Мережковские, и муж, и жена, были люди даровитые, думающие. Им много было дано, с них много и спрашивается.

Их многолетнюю и разнообразную литературную деятельность я сейчас не могу разбирать. Я пишу только о той оценке их общей интеллектуальной жизни, которую в этой книге дала нам сама Зинаида Гиппиус. Мережковские стояли во главе определенной литературной кучки. Многие видные писатели печатно признали то влияние, которое они на них оказали. Свои симпатии и антипатии, не только эстетические и поэтические, но и общественные, политические, они перебрасывали в многочисленный круг читателей. И все это в переломную, решающую эпоху русской истории, когда происходила коренная перестройка государственного аппарата, когда каждый разумный, трезвый голос имел значение. Но события мелькали, не задевая сознания этих двух выдающихся русских интеллигентов. Поздно, только ценой мучительного личного и общерусского опыта, пришли они к простой древней истине, что есть у нас родина, которая зовется Россией, что все русские обязаны ее беречь, отгонять от нее разбойников и их разбойничьи мысли, а не прислушиваться к ним с пустым любопытством, не забавляться роковой игрой с веками накопленной, простой, но повелительной мудростью.

